

# Владимир СОТНИКОВ

«Сотников именно прозаик, упорно пишущий именно прозу в том ее значении, которое разработала русская классика, то есть художественную. Наличие Пруста, Бунина и Набокова в его собственном художественном опыте не настораживает, а лишь обеспечивает дорогу».

Андрей Битов

«Книга Владимира Сотникова представляет собой целое море тонкой, изящной, и глубоко продуманной, и хорошо написанной прозы».

Владимир Маканин



ПОКРОВ

# Владимир Михайлович Сотников

## Покров

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=319582](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=319582)*

*Покров: Эксмо; М.; 2010*

*ISBN 978-5-699-41671-4*

### **Аннотация**

Над человеческой жизнью словно распростерт покров – чувств, мыслей, впечатлений, любви. Об этом роман Владимира Сотникова «Покров». Его герой с самого детства видит не только обычную, всем понятную реальность, но и особенную, тайную жизнь чувств, которые выражают себя в словах, то есть – в творчестве. Автор дает читателю драгоценную возможность: увидеть мир вне привычного, одномерного и одноцветного восприятия, вне оков повседневности.

# Содержание

О прозе	4
КОНЕЦ СВЕТА. СОН	7
Часть первая	12
1	12
2	14
3	20
4	29
5	33
6	47
7	51
8	57
9	62
Конец ознакомительного фрагмента.	67

# Владимир Сотников

## Покров

### О прозе Владимира Сотникова

Эта книга открывает нам автора, интересного во многих отношениях. Во-первых, Сотников именно *прозаик*, упорно пишущий именно *прозу* в том ее значении, которое разработала русская классика, то есть художественную. После Юрия Казакова тяга к такой традиции только ослабевала, а в нынешнем поколении почти иссякла. Так что Сотников – своего рода «осколок» прошлого в будущем, что всегда было как трудно, так и перспективно.

Во-вторых, его усилия во многом разрешают искусственную художественную контрадикцию между так называемыми «горожанами» и «деревенщиками». Сотников не противопоставляет себя культуре, а основывается на ней. Будучи деревенским по происхождению, опыту и тематике, Сотников уходит окончательно от ностальгического бытописания и как человек нового поколения пишет уже *отчужденно* человека в деревне не только по вине города, то есть пишет о *современном* человеке в гораздо более общем и широ-

ком значении. Это очень важное усилие.

В-третьих, он выбирает себе в прошлом учителей соответственно тоже не по территориальному, национальному и социальному принципу. Его прозе присуще ровное дыхание, и эта ровность притягательна. Она же освобождает его от раздражительности, позволяет выработать сплав. Наличие Пруста, Бунина и Набокова в его собственном художественном опыте не настораживает, а лишь обеспечивает дорогу. Если учесть, что непосредственным его учителем был Владимир Маканин, прозаик, сумевший выразить в наибольшей степени отчуждение современного человека, по-своему тоже преодолевший эту нарочную пропасть между городом и деревней, как бы приблизивший город к деревне, а не наоборот, – то усилия учителя и ученика можно считать встречными, а Сотникова – подлинно учеником, пытавшимся усвоить не поверхностные приемы, а главный принцип, которым силен учитель. Писать надо не о деревне и городе, а о человеке. Тогда все понятно.

В-четвертых, Сотников как художник занят больше всего самой трудной для изображения категорией, являющейся, однако, всегда главной в искусстве прозы, – категорией *времени*. Время у него не прямолинейно (тоже достаточно искусственная традиция), а максимально естественно, – течет во всех направлениях, вспять и в будущее, рождая неуловимое чувство настоящего, причем не только в форме воспоминания или более тонкого припоминания, но и в фор-

ме *чувства*, такого же, как боль. Это страдание временем – самая сильная сторона прозы Сотникова. И пространство у него не отдельно от времени. Поэтому хороши и описания – это не просто хорошо написанные картинки, но *состояния* – времени и пространства, природы и погоды, героя и автора.

Среди новелл третьей части романа «Покров» есть превосходные – «Пасха», «Туман», «Горе» и другие. Новелла «Заброшенная рукопись» внушила мне уважение к пути прозаика Сотникова, который не может быть легким, то есть может стать необходимым.

*АНДРЕЙ БИТОВ*

# КОНЕЦ СВЕТА. СОН

*Моим родителям*

Все об этом знали, но не верили. Я сидел среди них. Столы стояли прямо на площади, и где-то там, впереди, читали лекцию. Все слушали, кивали, удивлялись, но не было страха, точно речь шла не об этом воздухе и этой земле. Не было даже серьезности на лицах. Потом стали подписывать бумагу. Я не помню точно, как она называлась, но это было что-то вроде сбора подписей: что, мол, все предупреждены и знают, а может быть, и не было названия, а просто сбор подписей. Так старательно передавали этот большой лист по рядам.

В бассейне, что был тут же, рыба начала всплывать, задыхаясь. И все опять покачивали головами, говоря: «Рыба чувствует...» Птицы онемели, и даже маленький воробей натужился, не умея чирикнуть. Все показывали на него пальцами и говорили: «Он знает, что скоро будет...»

На голову мне спрыгнула белка, но я не боялся, я знал, что это не просто так, ведь белка знает, что скоро случится; я нагнул спину, и она соскочила. И все удивленно цокали языками: «Это ж надо, такой зверек, а все понимает...»

Ко мне должен был кто-то приехать. Я долго убирал комнату, раскладывал все по местам. Потом вышел вниз, встречать. Но было еще рано, и я вернулся.

В комнате был страшный беспорядок. Я смотрел на все предметы и помнил, как я их расставил, – мне казалось, что я убираю. Но я только переставлял их с одного места на другое. Ничего не изменилось, и даже стало яснее – какой здесь хаос. «Еще одно подтверждение...» – мелькнуло у меня в голове. Я начал было опять что-то поднимать с пола, что-то поправлять и часто оглядывался на всю комнату. И все страшнее становилось – ничего не мог я изменить. И захотелось, чтобы получилось так: у меня потекут слезы, а потом вдруг я рассмеюсь. Я вышел на улицу.

Каждый шаг тяжело было ставить на крутых ступенях каменной лестницы – такие лестницы бывают на маяках. Я об этом подумал и удивился, как быстро мне поменяли лестницу. «Другие годами ждут...» – стучало в голове под каждый шаг.

Внизу горел свет, и косо мелькнула тень. Она шаталась, и через минуту показался человек. Он что-то мне сказал, но я не услышал, а подумал: «А, вот и он...» У него был очень чистый – чересчур, как я успел подумать, чистый – фрак и небритое круглое лицо. Он сказал: «Мы ее найдем. Пошли» – и махнул головой. Мы пошли вниз, кружась по ступенькам. Мелькал свет, как от костра. Я уже представлял то, за чем мы шли: маленькая шкурка какого-то зверька, сухая, она лежала на камнях. Но это я только представлял – и спешил вперед, чтобы увидеть ее на самом деле.

Но странно: я чувствовал, что никто из нас не хочет ее

найти, а идем все дальше и дальше. Я был уверен, что каждый представляет ее так же и боится увидеть на камнях.

Я понял, что мы прошли первый этаж и уже спускаемся в подвал. Прошло много времени, а мы все спускались. Я думал: «Зачем такие подвалы, лучше делать дома выше...»

Мы растянулись – человек с круглым лицом был далеко внизу. Он часто оборачивался и что-то говорил. Я не слышал, но мне казалось, что слышал – да, наверное, слышал, я ведь ему отвечал. На мои слова он радостно смеялся, и грязные его волосы тряслись над ушами.

Потом вдруг я увидел, что иду один. И внизу что-то замаячило на камнях – я сразу испугался, почувствовал себя маленьким комочком, волосы стянуло на голове, и застыло все тело. И я быстро побежал назад, наверх, с закрытыми глазами. Я не оступался, бежал ровно и кричал: «Мало, мало...»

Я выскочил на площадь. Вокруг бассейна стояли люди. Я подошел. Из мятого хлеба было сделано много четырехугольных кружечек. В них была вода. Я поднял одну кружечку и высосал воду. Она была скользкая. Я бросил кружечку, успел выплюнуть немного воды – остальная проскользнула внутрь. Рядом стоял автобус. Я заскочил в него, ожидая, что все люди тоже полезут. На площадь загоняли овец, коров, коней. Я смотрел на них из окна автобуса. Потом вдруг увидел ветеринара, быстро вскочил, подбежал к нему, закричал: «Надо сделать пробы, надо скорее сделать пробы». Он не понимал, просто ленился понимать, а я кричал ему: «От тебя

все зависит – быстрее делай пробы. Скотина!..» – я так обрадовался, что нашел это слово. И отошел.

Я глянул на небо, оно было ярким и разноцветным, но красный цвет преобладал. Я подумал, что оно похоже на ткань. Крупные нити переплетались, кое-где были видны разорванные места, и оттуда капало красным цветом. Я испугался, что эти капли упадут на меня, и отскочил.

С острова всех вывозили на корабле. Он стоял на рейде возле берега, а все люди толпились в магазине.

Была огромная очередь. Я подошел сбоку и сказал: «Мне без сдачи». Потом я шел по берегу и, спотыкаясь, глядел на небо.

Корабль сильно качало на волнах – вверх-вниз. Остров то открывался, то исчезал за бесконечной непроницаемой водой. Я стоял на палубе, держась за бортик, и думал, как незаметно прошло время, в котором готовился этот день, обещанный с самого начала.

Оттого что корабль качался на одном месте – а может, это только помогало, – тревога и напряжение крепили во мне. Я оглянулся вокруг – палуба была пуста, хотя я недавно видел, как по сходням толпились, напирали люди. Когда корабль опять подняло вверх, я глянул в сторону острова и почувствовал, как оттуда смотрит на меня кто-то невидимый из-за расстояния. И, уже попав на эту линию, состоящую из одного общего взгляда, я не мог оторвать глаз, всматриваясь до боли. На мгновение показалось, что я вижу себя, стоящего

на палубе, и я даже почувствовал, будто споткнулся на ходу – всегда спотыкаешься, когда идешь и смотришь в одну далекую точку. Волна ударила о борт, будто вода стала выше. На лицо попали капли, и я вздрогнул. Вздрогнуло и время, устремилось к берегу – туда, где в чьих-то глазах отражался мой взгляд.

Время покатило обратно, забирая с собой и того, кто с берега смотрел на качающийся корабль. Споткнувшись, этот человек остановился, чувствуя, что следующий шаг не нужен.

Не нуждаясь в событиях и избегая их, время понеслось к тому дню, который в первом смутном воспоминании оказался началом.

# Часть первая

## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

### 1

Он лежит в своей кроватке, не зная еще, что он ребенок, что он проснулся, что этот яркий холодный свет – утренний, а потом будет длинный день, один из первых дней, который можно будет вспомнить по этой мелькающей за стеклом ленточке – случайно кто-то привязал ее к раме, как только дом стал домом, и всегда она будет болтаться под ветром, ожидая своего полного истления. Каждое утро он сразу же искал взглядом эту ленточку, и если ее не было видно – в тихую погоду она скрывалась за рамой, – что-то начинало его беспокоить, он долго смотрел в окно, не умея еще понять, почему это утро так не похоже на то, чего он ждал во сне, и начал плакать. Подходила мать, говорила: «Сыночек проснулся, ну что ты, ну что ты», – и брала его на руки. Он косился на окно, прижимаясь к матери, и плач растворялся в чем-то большом и теплом, и вот уже не видно окна, он опять почти спит, только глаза открыты, и совсем легко. Он ищет губами и вот уже прижимается к груди, закрывает глаза и чувствует, как тепло входит в него, и он тяжелеет, глаза не открывают-

ся, он совсем уже тяжелый – и вдруг откуда-то всплывает окно, сверкает прозрачностью, но ничего нет за ним. Он пробует отвернуться и сжимает изо всех сил ртом что-то упругое. Мать над ним охает – и этот звук похож на то, что притягивало его к окну. Потом – громкие голоса, он знает, что смотрят на него, и не открывает глаза. И все исчезает. Чернота только мелькнула в нем, но, когда он открыл глаза, свет в комнате был совсем другой – яркий и теплый. Ленточка слабо качнулась за окном, но все равно ничего не изменила. И он вдруг вспоминает, как сжал рот, как зазвучали над ним тревожные голоса, и это он сам сделал то плохое, что изменило его. И хотя ленточка на месте, все равно ему хочется заплакать. Подходит мать, берет его опять на руки и говорит, и он чувствует – его успокаивают, но все равно в этом голосе уже есть тревога, и голос это тоже знает и старается быть теплее, теплее. Впервые он чувствовал, что ему стыдно, что его прощают, а он может только плакать.

## 2

Проходит еще время – он уже знает, что оно проходит днями, ночами, то задерживаясь, то разгоняясь так, что сливаются лица, слова, чувства. И кроме ленточки появляется много предметов, почему-то выделяемых им из всего уже знакомого. Он знает несколько слов, отзывается на свое имя, потому что это слово он слышал чаще всех остальных. Когда мать говорила: «Ваня», – он всегда хотел смеяться, но потом привык к имени, и мать стала выговаривать его не растянуто и длинно, заполняя этим звуком все вокруг, а просто для того, чтобы сказать еще что-нибудь, к чему он прислушивался, но не всегда понимал. Он ползал по комнате, умея делать это и медленно, и быстро, и любил добираться до какого-нибудь предмета именно тогда, когда и хотел, как и ожидал от себя. Высоко, если поднять глаза так, что можно от этого и завалиться на спину, висел шар, который мгновенно изменялся – то вспыхивал, то снова становился обыкновенным, и хотелось опять и опять вздрагивать и от восторга, и от своего неумения привыкнуть. Он чувствовал, что можно смотреть на эти прыжки света без конца – это было самое быстрое, что он знал. Остальное было медленнее – медленнее разгорался в печке огонь, медленнее текла вода, когда его умывали. Если что-то падало из рук, он видел быстрое кувыркание и уже лежащие в покое ложки, кружки, карандаши – все побывало

в его руках. Он знал: если взять в руки блестящее и тяжелое, это быстро у него отберут, а то, что всегда валялось поближе к его кровати и что брать не очень хотелось, не отбирали никогда.

Печка сразу испугала его, он хотел потрогать дверцу – и вдруг стало так больно, что весь он превратился только в эту мгновенную боль, которая долго не забывалась. Но издали было интересно смотреть, как в печке что-то прыгало, сверкало и все не могло оторваться и улететь.

В комнате все было знакомо, и, чтобы найти новое, он уже научился переставлять, переносить, ставить одно на другое и чувствовал, что надо нарочно все путать, притворяться – например, считать кубики печкой, и тогда было интересно смотреть и думать, что там, внутри, должен быть огонь.

Но когда он научился залезать на стул у окна – все изменилось. Ленточка была перед глазами, и дальше было все совсем новым. Не надо было ничего трогать, а только смотреть, и он стоял, вцепившись в подоконник, долго, пока не уставал. Ему говорили: «Ваня, иди сюда», – а ему казалось, что просто отвлекают от того главного, что было в комнате. Он быстрее делал все, чего от него ждали, и спешил к окну.

Через много лет он будет вспоминать это окно и ловить себя на том, что там, за светлым пятном в стене, перечеркнутым крестом рамы, ничего нет. Он будет напрягать – уже не память, а умение придумать новое, – но будет видеть только мельтешение в тусклом свете знакомых, часто повторяемых

картинок, утратив свое с ними сходство, и собрать все вместе уже нельзя, как нельзя по высохшим листкам гербария восстановить тот летний день, когда пестрый букетик принесенных из леса листьев и цветов оставался живым, хотя уже чувствовалась будущая тревога, неизбежно повторяясь в воспоминаниях.

И поэтому притягивает ясность самого первого времени, куда может вместиться вся жизнь.

Он уткнулся лбом в стекло, но смотрит не далеко, не туда, где все застыло и успокоилось. Прямо перед глазами – стекло, и по нему, вздрагивая и соединяясь друг с другом, ускоряя себя, стекают капли. Каждую из них он как-то называет про себя и вот уже видит, что они похожи на людей – вот рванулась, приостановилась, потом, попав на дорожку, стекает маленькая капля, и кажется, что это он сам, рядом растет другая – он называет ее мамой, рядом еще много-много других, и вот он уже следит, как перед глазами мерцают и сплываются одна за другой прозрачные дорожки.

Наверное, он долго не моргает, потому что по щекам текут слезы, и он думает, что они похожи на стекающие по стеклу капли.

Но бывают дни, когда окно совершенно прозрачно, и его существование едва ощутимо, и если медленно приближать лицо, то это чувство превратится в особенный запах – всегда одинаково пахнет воздух у самого стекла, свежо и мертво.

Окно оказалось первым чувством, вставшим между его

глазами и неподвижным миром. Далеко был лес, синий и переходящий в небо, перед ним – большой луг с редкими кустами, и совсем рядом – можно было, казалось, дотянуться рукой – ветки яблони. И уже тогда, уткнувшись лбом в стекло, он ощущал это прозрачное препятствие по его холодному запаху, по стекающим каплям и по той мертвенности, навсегда связанной с первой в его жизни картиной непонятного внешнего мира, который, споткнувшись, проходил к нему через стекло.

Он со страхом и сочувствием смотрел всегда на взрослых, которые собирались выйти из дома, и особенно сильно любил отца и мать, когда они одевались – было тревожно от взмахов рукавов, перебираний пальцами пуговиц, – потом дверь хлопала, и он уже ничего не чувствовал, только не отрывал взгляда от двери, словно проверяя на прочность свершившееся.

И в один сверкающий зимний день он стоял на табуретке перед отцом, и тот запихивал его в пальто, натягивал петли на пуговицы, ущипнул за подбородок крючком и сказал: «Ну, готов». Он спустился с крыльца, не веря до конца, что он один, и пошел куда-то – куда, наверное, и надо было идти – к калитке, и снег провожал его переливами света, и хотелось зажмуриться, и тогда все исчезало, в последнее мгновение сверкнув всеми цветами на самых ресницах.

Потом, через годы, этот зимний день будет то исчезать из памяти, то, наоборот, уточняться и яснеть при любой

вспышке похожего света, запаха, звука. Глухой топот копыт по укатанному снегу, повизгивание полозьев, нетающий запах лошади в морозном воздухе, покачивание ветки после только что слетевшей птицы – все это началось однажды, с одного его взгляда, и только повторялось потом, то почти полностью совпадая с первым своим появлением, то мучая несовпадением, которое все больше увеличивалось со временем. Это было похоже на то же покачивание ветки – только что слетела птица, а ветка раскачивается все сильнее, не соглашаясь успокоиться, и только птица, вернувшись, может своим весом присмирить и остановить унылое движение – вверх-вниз, вверх-вниз.

Он не вышел тогда, в первый раз, за калитку, хотя та была полуоткрыта – снег плотно держал ее в одном положении, – а только высунулся немного, чтобы посмотреть на улицу, на ту ее часть, которую нельзя увидеть из окна. Сани уже пронесли мимо, скользили с боку на бок по блестящей дороге, и высокий воротник кожуха неподвижно сидящего человека едва ли не полностью закрывал лошадь.

Он подумал тогда, что взрослые расходились по этой дороге в две ее стороны, и вспомнил, как всегда одевались перед выходом из дома отец с матерью, и в перебирании их рук по пуговицам было что-то тревожное.

Так он и простоял тогда у калитки, глядя на пустую улицу – больше по ней никто не прошел и не проехал, – стараясь запомнить не видимое из окна пространство. Потом ре-

шил, что пора возвращаться, и пошел обратно к крыльцу, несколько раз обернувшись.

Прошло время, совсем не ошутимое в воспоминаниях, и однажды летом, когда даже солнечный свет казался зеленым, он сидел на крыльце и чертил перед собой на дорожке буквы очень уж удобной палкой, с которой не расставался целый день. Кто-то прошел мимо, спросил весело: «Рисуешь?» – он, не поднимая головы, узнал отца и после этого уже просто водил палкой, перечеркивая линии, пока дорожка не стала рыхлой, перепаханной. Потом встал, прошелся вдоль забора, провел по нему палкой, подумав, что звук этот напоминает заводимый трактор. На улице слышались голоса – там разговаривали сестра с бабушкой. Казалось, что они говорили о нем, хотя слов нельзя было разобрать. Один голос рассказывал, второй прислушивался и отвечал чем-то похожим. Он остановился и стал ждать, и чем больше он так стоял, тем больше чувствовал, что начинает вместо этих голосов сам себе рассказывать и отвечать, хотя слов он не мог различить, а только делил все так же пополам – сначала проносилось все в одну сторону, потом, соглашаясь и поддакивая этому, возвращалось обратно. Как на качелях, он раскачивался в этом движении, все быстрее и быстрее пролетая одну точку, где хотелось бы приостановиться, оглядеться, но голоса все звучали, раскачивали его, и уже стало совсем нестерпимо, он открыл глаза широко, замахнулся палкой, в последний миг

успев подумать: «А ведь испугаются», – и изо всех сил бросил палку. Калитка распахнулась навстречу, и сестра, откинув голову назад, вскрикнула – палка тяжело ударила ее по лицу, и руки сразу закрыли место удара.

Он застыл на месте, глядя сразу на все – и на распахнутую калитку, и на сестру с ладонями вместо лица, и на синее небо, вдруг вспыхнувшее вверху, далеко над лесом, – и вот уже он бежит назад, за дом, и ноги совсем непослушные, вот-вот споткнутся, и он упадет лицом вниз.

Потом он медленно возвращается к калитке, и взгляд останавливается на каждом предмете. Он хочет распахнуть калитку и бежать дальше, к лесу, но на скамейке у забора сидит сестра, глаза у нее совсем сухие и странно улыбаются. Он медленно подходит и садится рядом с ней. Ему становится немного легче, и он боится только, что сейчас услышит ее голос. Но она поднимается и уходит. И вдруг такая тяжесть сваливается на него, неожиданно и грузно, что нельзя и рукой пошевелить. Он сидит один, долго смотрит на лес, на небо над лесом, и хочется заплакать, но тяжесть его не отпускает, и нет ни слез, ни голоса.

Он не помнит, как оказывается в лесу, идет по тропинке, и ему постоянно страшно. Кажется, что в лесу много людей, но их не видно, они спрятались за деревьями, а он все идет и не может остановиться. Листья медленно и бесшумно падают, хотя сейчас и лето, но они всегда падают, их много на тропинке, они шуршат под ногами. На далекой поляне он

садится на одинокий пенёк и оглядывается. Над неровными верхушками деревьев застыло облако, и вот он уже представляет, что сидит на этом облаке и смотрит оттуда на поляну, и далеко, за лесом, видна деревня, и стоит только захотеть, почувствовать внутри себя желание перенестись с одного места на другое – и облако сразу же срывается и плывет, и уносит лес внизу.

Когда уже начало смеркаться, он испугался, что не успеет выйти из леса, и побежал обратно. И только на лугу приостановился, пошел медленно. Перед домом увидел отца, понял, что его искали, глянул в сердитые глаза. Никто ему ничего не сказал – он пробрался в спальню, быстро разделся и лег, завернувшись в одеяло с головой, сразу засыпая, улетая на том самом облаке, непрерывно боясь, что оно его не удержит.

Утром, проснувшись, он сразу глянул в окно. И обрадовался ленточке, которая, казалось, совсем уже выбилась из сил, мельтеша и не находя себе места. Под сильными порывами ветра она вдруг взлетала и застывала на мгновение, прижимаясь к стеклу, но опять опадала за улетающим ветром, словно собиралась с силами, но ей не давали передохнуть, и нельзя было отвести глаз от этой картины трепета и тревоги.

Когда в доме шаги всех, кто проснулся давным-давно, зазвучали направленно к нему, к спальне, где он затаился в своей немоте, – он понял, что по-другому никак не получится, а придется встать, одеться и пройти через две комнаты, и

его встретят взглядами и еще чем-то, чего он и боялся больше всего, – он встал, оделся и вышел, проделав все это с удивительным совпадением. Открылась спасительная дверь на улицу, чистый воздух ветром налетел на него, и он вздохнул, дергаясь и дрожа грудью, как после долгого плача. Земля была холодной, он шел босиком по тропинке, мечтая о каком-нибудь месте – на толстом полене за забором или на пороге старой бани, – где можно было сидеть долго-долго, не меняя своего положения, никуда не переходя, и чтобы никто его не позвал, не окликнул.

Но он знал, что в доме собирались завтракать, и его обязательно позовут – в еще не прозвучавших голосах он уже чувствовал не тревогу, а ожидание, – что он не отзовется, и потом в зовущих голосах появится обеспокоенность, которая сразу всех объединит в стоворе, все разойдутся искать его, и каждый будет, как на охоте, предвидеть встречу с ним: «Тебя все ищут, что ты тут спрятался?» Чтобы этого не случилось, он сам пошел обратно, решив по дороге сразу же после завтрака уйти в лес.

За столом у него что-то спросили, он ответил, словно поняв, что разговор должен быть о постороннем, и эти ненужные слова определяли не сказанное, но главное в эти минуты. Как раз то, о чем то ли нельзя было говорить, то ли вообще не было слов для этого, и объединяло всех, и он чувствовал себя центром, владельцем кубиков, из которых только что построил домик, и любое чужое прикосновение сразу

бы все разрушило.

Он быстро ел, не поднимая головы, и, посидев необходимую минуту после того, как запил молоком еду, поблагодарил, удивившись своему голосу, и вышел. Наверное, за дверью сейчас начнется разговор, наверное, все будут вспоминать его в последние дни, все те мелочи, которые он сам забыл, – все это, изменившись, став высказанным, будет окружать вчерашний день с одним сверкающим мгновением – как на фотографии, он видел распахнутую калитку, закрытое ладонями лицо сестры и кусочек неба над ее головой.

Роса еще не высохла – луг дымчато белел, и если оглянуться, то можно было увидеть свои следы. На минуту он задумался, куда бы пойти, какое место выбрать в бесконечности леса, и вдруг успокоился, вспомнив про заброшенную будку на самой верхушке дуба. На самом краю низкорослого ольшаника одиноко возвышался этот дуб, и было странно, что вспомнил он о нем только сейчас.

Идти сразу стало легче, он нашел глазами темную верхушку, стараясь рассмотреть в ней очертания будки, но ничего не было видно в неподвижной густой кроне.

Прошлым летом брат впервые привел его к этому дубу. Показал рукой вверх – там, у самой вершины, было что-то похожее на большое гнездо. И когда они залезли наверх, это гнездо оказалось сплетенным из веток, сбитым из разнокалиберных досточек домиком с крышей. Внутри него сидел Толя, ровесник брата; улыбаясь во весь рот, он сказал: «Ну,

как наша будка, законная, а?» Каждый день они ее достраивали и, когда совсем уставали, садились в тесном полумраке, слушали, как шумят листья, как гудит ствол, переглядывались восхищенно и додумывали, рассказывали друг другу, что еще можно сделать со своей будкой – и планы были бесконечными. Сидеть так, втроем, уткнувшись коленями в колени, было уютно, и это было лучшее их время. Потом, к концу лета, чужие хлопцы пытались сжечь будку, но она сгорела не полностью, сгорели только крыша и ветки потоньше.

С братом и Толей они несколько дней ремонтировали, обновляли будку, но потом налет повторился, и постепенно будка оказалась как бы не принадлежащей никому. Наполовину разгромленная, она приняла свой теперешний вид, не вызывая у одних желания добивать ее, у других – обновлять. Она уже ветшала сама по себе, но еще можно было залезть туда, в высокий шум, и особенно горькое чувство подолгу не отпускало от себя. Он потом заметил, что брат иногда уходит в лес один; наверное, он просиживал наверху часами. Полуразрушенная, будка охотней принимала одного, молчание больше совпадало с бесконечным шумом ветра, и этот шум был однотонной жалобой, понятной и близкой.

В лесу было совсем свежо, хотя утро уже переходило в день, начиналось то время, когда сырой воздух растворяется, исчезает до самого вечера, и между деревьями застывают только теплые запахи. Он быстро полез по знакомому стволу, казалось, что ноги и руки сами знают, за какой сук цеп-

ляться, на какой наступать. Он прижимался к грубой, мшистой коре, чувствуя всем телом гул, который шел из земли и тянулся к вершине, растворяясь в самых высоких ветках и листьях. Внутри будки так же, как и раньше, пахло обгорелыми и обмытыми многими дождями головешками – ни дожди, ни ветер не смогли уничтожить этот запах.

Усевшись поудобнее, он глянул в сторону деревни. Улица открылась вся, от начала до конца, его дом был как раз напротив дуба и смотрел своими окнами прямо на него; казалось, вся улица растекается от дома и в одну, и в другую сторону, подчеркивая естественность этого прямого взгляда только двух окон. И там, на одном из них, и сейчас дрожит под ветром ленточка, никогда не успокаиваясь.

Будку слегка покачивало, и он вспомнил свой сегодняшний сон. Закрыв глаза – точно так он покачивался, плавно, совсем не чувствуя движения, на облаке, и непонятно было, сам он управляет этим движением или какая-то сила несет его, а он соглашается с ней и подчиняется покорно и с радостью, утопая в этой плавности и покое.

Сколько он так просидел, нельзя было понять, но когда открыл глаза, то увидел, как по лугу, отдаляясь от дома и приближаясь медленно к лесу, шли брат с сестрой. Все вздрогнуло перед глазами и заняло свои определенные места. Быстро вспомнилось и вчерашнее, и роса на лугу, и кусок отставшей коры на стволе дуба – все в странном клубке, и клубок этот покатился стремительно к двум фигурам на лугу, почти

неподвижным из-за расстояния.

Наверное, он испугался, потому что рванулся сразу, опустил ноги вниз, хотел слезть скорее – и вдруг представил себя падающим, срывающим листья – так падали выпавшие из рук доски, когда они строили будку, – и он вцепился во что-то руками, застыл на мгновение, потом подтянулся и уселся на прежнее место. Показалось, что он уже не слезет отсюда никогда – сил не хватит, тело ослабело, как в болезни. И он стал смотреть и ждать. Брат с сестрой исчезли за деревьями, наверное, они вошли в лес. Он услышал, как они зовут его по очереди, громко, и подумал, что они не знают, где он.

Брат кричал намного тише, почти говорил – голоса раздавались внизу, у самого дуба, – и он вдруг понял, что брат знает про будку и не хочет его выдавать. От этого странно зачесались глаза, он заморгал, и по щекам потекли слезы.

Потом он увидел, как они возвращаются домой, брат еще оглянулся несколько раз с луга на лес, и вот опять стало спокойно и тихо. Он почти соскользнул по стволу на землю, постоял, не зная, куда же идти, и, все еще плача, ходил долго среди деревьев, спотыкаясь в густой траве.

К вечеру он пришел домой, сидел за столом, мать плакала на кухне, отец кричал громко, ругался, все замахивался, но никак не мог ударить. А он ел, не разбирая, что перед ним, глядя в одну точку на скатерти.

В соседней комнате в темноте сидел брат, и когда он вошел туда, на ходу расстегивая рубашку, брат посмотрел на

него из темноты блестящими глазами. Было уже тихо, глаза слипались от усталости, и когда он засыпал, то видел перед собой сидящего в углу дивана брата.

Только закрытые глаза были его собственностью – никто не вмешивался в ту жизнь, которая, как за занавесом, скрывалась в этом мраке с особенным освещением. Словно под луной, ходили фигуры людей, мерцали деревья, и странно: небо в том мире с самого начала смешалось с воздухом, став, наверное, этим светом, похожим на лунный. Попадая под этот свет, все становилось понятным, и уже не было потребности связывать слова с предметами, мучаясь несопадением. Это несопадение похоже было на то, как стекло впитывало в себя, не пропуская, живую тяжесть птиц на ветках яблони, и от их покачиваний и перелетаний оставались только похожие на книжные страницы картинки.

Таким светом были окрашены только сны, но потом любое воспоминание тоже смешивалось с этим светом, и он с восторгом наблюдал за спокойным движением смешанных красок. Словно оживала и начинала двигаться окраска одного из его карандашей в перламутровых разводах, которые всегда привлекали больше, чем скромная линия, ради которой и жил этот карандаш. Странно было смотреть, как из всего богатства красок, которые были на гладкой поверхности карандаша, на бумагу вырывалась только одна, тусклая и всегда одинаковая.

Он с удивлением понял, что, кроме него, никто не видит

этого мира, сплетенного из снов и воспоминаний, и никто не может вмешаться, не став лишь частью, лучиком или пятном в этом свете, сравнить который можно только с лунным.

Этот свет долго мешал ему научиться читать, пока он не догадался уступить, наконец, выпрыгивающему значению каждой буквы, разрешая буквам называть себя самим, соединяться в слова – и только после этого он произносил слова по-своему.

Читать его учили, но в какой-то миг он понял, что все получается совсем иначе, чем объясняют, но в этом никому не признался, а только показал, что умеет произносить слова так, как от него и хотят.

Книжки, которые были у него, сразу изменились, буквы забрали себе все значение, и картинки уже замерли в своей ненужности и даже иногда в несоответствии, противоположности смыслу.

Он уже понимал, что рассматривание картинок – совсем другое занятие, чем чтение слов, даже если слова связывались с этими картинками на странице, и когда уставал от чтения, то рассматривал картинки, и совсем новые чувства подхватывали его и уносили туда, где ни один предмет, который он мог бы назвать, не встречался ему на пути, но он чувствовал необъятное пространство, зависящее от него и связанное только с ним. Видя, как читают взрослые, он уже боялся, что сам читает неправильно, – нельзя же сидеть так, как он, над одной страницей, почти не понимая смысла написанного, –

потому что пересказать содержание, как требовали иногда родители, он не умел. Но он справился и с этой задачей, как только понял, чего же от него хотят. И в свой рассказ он помещал все, что не подхватывалось тайным, одному ему известным движением, а так и оставалось на страницах книги. И даже радовался, когда чувствовал, что ему удастся подобрать почти все, что не могло подняться и взлететь, а сцепилось друг с другом в своей тяжести, только укрепляясь с повторением.

Уже не страшно было оставаться дома одному – обычно он сидел у печки, прислонившись к ней спиной, глядя в раскрытую книгу, и если поднимал иногда глаза на окно, то все равно казалось, что он продолжает читать.

Время проходило незаметно, вдруг натыкаясь на звяканье ключа в замке – приходили родители, и в эту минуту помещались и шарканье ног, и темное пространство сеней, мелькнувшее за открытой дверью, и свежий холод улыбающихся лиц отца с матерью. Они улыбались и смотрели ему в глаза, спрашивая без слов: ну что же было, как прошло не замеченное им время? – и он тревожился, словно надо будет что-то пересказать, а он не сумеет, словно забыл, что делал здесь один, и, может быть, все кроме него догадываются, что ничего он не сможет рассказать.

Как только он привык к этим возвращениям родителей, то стал замечать, что с каждым разом лица их менялись. Им необходимо было все чаще перегляднуться и, встретившись

глазами, подтвердить друг другу то, в чем они сомневались и о чем говорили по дороге к дому. Все внимательней они вглядывались в него, как только переступали порог, как-то по-новому гладили его по голове, стараясь заодно потрогать лоб, а он никак не мог сделать свои глаза спокойными и спешил опустить их в книгу, уже не разбирая ни слов, ни застывших картинок.

Несколько вечеров он подолгу не мог уснуть и прислушивался к тихому разговору родителей, которые сидели в соседней комнате за столом. Он представлял, как горит настольная лампа, как лиц почти не видно, и чувствовал, что под этим светом лампы, в тихом звуке голосов что-то решается о нем, и когда несколько раз расслышал свое имя, то вместе с родителями стал думать о себе, словно пробираясь к тому месту, где все станет ясным, где они втроем встретятся и вдруг вспыхнет свет, смотреть на который будет легко и спокойно.

Это место незаметно становилось сном – все чаще он стал видеть одно и то же: что-то похожее на тропинку или длинную дорожку, и поверхность была неровной, исковерканной, складки все собирались, двигались, как истоптанная трава, стараясь распрямиться, и вдруг поверхность начинала двигаться плавнее и уже ползла сама под него, превращаясь в совершенно ровную дорогу. И сон продолжался в этом спокойном движении, плавном и бесконечном.

Как-то утром он проснулся от разговора в соседней комнате. Говорили громко, будто ожидая, что его пробуждение, наконец, свяжется с их словами, произносимыми по-утреннему отчетливо и ясно. Он прислушался и по голосу узнал бабушку. В последнее время она приходила совсем редко, принося с собой особенное чувство постоянной скуки. Это непривычное для их дома чувство сразу объединяло всех, и все становилось тихими и внимательными. Наверное, в сених осталась ее палка, готовая упасть от стука двери. Он всегда любил играть с этой палкой, вынося ее во двор, ожидая, что его позовут и он побежит, с готовностью протягивая палку бабушке, глядя, как ее рука привычно обхватит гладкую поверхность, и это будет уже началом странной и смешной походки – бабушка, словно играя, будет вычерчивать за собой по тропинке прерывистую линию с твердыми точками.

Улыбаясь и щурясь ото сна, он вышел в ту комнату, где сидели за столом родители с бабушкой. Все они повернулись навстречу, подтвердив этим свое ожидание, и почти одновременно сказали:

– Доброе утро. Проснулся?

Он кивнул, все так же улыбаясь, протирая кулаком глаза. Вышел быстро в сени, глянул на палку – она не упала, а только немного сдвинулась, успокоившись верхним концом

в ложбинке на стене.

Во дворе было столько света, что он и не смог открыть глаза широко, а стоял, привыкая и к этому холоду, и к яркому небу, по-весеннему чистому, и хотя еще был мороз, все вокруг уже ждало тепла, с крыши вот-вот должны были за капать медленные вначале капельки, лед на дорожке уже был не скользкий, а влажный сверху, и когда он глянул на скворечник, всегда застывший и неживой, то увидел сверкающую птицу и услышал, как ясно и звонко она пропела, словно кто-то чиркнул по стеклу железом – и зазвенел, задрезбезжал этот голос. Свежо и весело было во дворе, пахло от сарая живым теплом, и он еще долго стоял, пока не вспомнил, что надо идти в дом.

На полу, закрыв все свободное место, лежал козух. Он чуть не споткнулся и остановился, удивленно глядя на мать. А она взяла его за руку и осторожно, будто несла что-то стеклянное, повела вокруг козуха в другую комнату. Там села на диван, взяла его на колени и стала говорить, покачиваясь, словно убаюкивая его:

– Ты не бойся, не бойся. Бабушка полечить тебя пришла – полечит, и ты будешь у нас веселенький, кто-то испугал тебя – ты скажи бабушке, где ты испугался? Вспомни и скажи – может, на улице, когда один игрался?

Он молчал, было хорошо и тепло покачиваться, но вот скоро надо вставать, идти в комнату и там ждать, пока не кончится все, чего он не понимал. Он чувствовал, что и

взрослые не понимают и поэтому такие тихие и осторожные. Когда они с матерью вернулись, отец поправлял кожух, и похоже было, что кожух живой – так аккуратно, почти не прикасаясь, отец стряхивал с него невидимые соринки.

– Ну, ложись.

А он и до этого догадался, что надо ложиться, и опустился сначала на колени, потом неудобно прилег, чувствуя неловкость. Все стояли над ним, а он лежал, и хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть перед собой близко бабушкиных валенок – галоши были еще мокрыми, и на них мелькнул, отражаясь от окна, тусклый свет. И хотя бабушка наклонилась к нему и спросила: «Кто тебя испугал, скажи мне», – он молчал, чувствуя, что говорить сейчас совсем нельзя. Даже сказать: «Не знаю» – он не мог. Он прижался ухом к густой шерсти кожуха, слушал, как глухо в полу отдаются шаги бабушки, которая ходила вокруг него, и казалось, что издалека, из темноты он слышит и перекрученный, резкий голос сверкающей птицы – и весь дом звучал шагами, шорохами, он впервые слышал эти звуки, которые, оказывается, совсем по-другому жили в полу и гудели, словно хотели вырваться в то пространство, где все ясно и прозрачно.

Он открыл глаза – бабушка беззвучно шептала, отрезая ножницами кусочки шерсти от кожуха, собирая их в свой сухой кулачок. Потом его тронули за плечо, словно хотели разбудить, и он даже неохотно встал. Прямо перед лицом он увидел комочек шерсти, к которому поднесли спичку, но ко-

мочек только задымился, не вспыхнув, и сразу резкий запах дыма прилип к нему, начал обволакивать. Он слышал: «Нюхай, нюхай хорошенько, не отворачивайся». Голова закружилась, но он знал, что все уже кончилось, – и действительно, кожух подняли и повесили за печку, ножницы лежали на столе, и вот уже бабушка вышла, и он сам, соскользнув со стула, тихонько прошел в другую комнату, закрыв за собой дверь.

Сел на диван, раскачиваясь и ни о чем не думая, стал ждать, что же будет дальше. За дверью говорили вполголоса, но он уже и не прислушивался. Он смотрел на дверь – вот она открылась, мать принесла ему одежду, и он понял, что сейчас надо будет выходить во двор.

Бабушка стояла в сенях и ждала. Мать даже подтолкнула его, сказала: «Ну, с Богом», – рука его оказалась в бабушкиной шершавой ладони, и они сошли с крыльца. Он оглянулся, заметил, что палку бабушка с собой не взяла, и подумал, что вместо палки – он, в той же руке держит она его, и он постарался идти прочнее, твердо ступая по нескользкому льду с вмерзшим в него навозом, мелкими щепками – все это словно всплывало наверх из-под льда и становилось сразу сырым – так и тает лед, подумал он.

Они долго что-то искали, и он не спрашивал, боясь, что бабушка опять будет просить: «Скажи, кто тебя испугал?» Он сам вспоминал все из той жизни, связанной с людьми, которых он встречал, выходя на улицу, и никак не мог вспом-

нить, чтобы кто-то замахнулся на него, громко при этом крикнув, – так однажды он видел, как сосед, огромный старик с заросшими щетиной щеками, замахнулся на собаку и та стремительно отскочила, взвизгнув так жалобно, будто удар уже был нанесен. И он сейчас не мог понять, кто же его испугал, и не мог никого вспомнить, а старик – тот всегда проходил молча, даже не глядя в его сторону, и он только ждал, когда старик проплывет рядом, обдав его запахом чужого дома.

Бабушка мелко переступала, поглядывая на стены сараев, всяких пристроек, и уже тащила его к дому, где и жил тот старик. Сарай, стоящий в стороне от дома, чуть покосился, и к его стене были приставлены толстые палки, такие толстые, что можно было их назвать бревнами. Они подошли совсем близко к этому сараю, и бабушка остановилась, чтобы отдышаться. «Ну вот, в самый раз, надо было сразу сюда идти, – сказала она. – Не бойся, подлезь под эту подпорочку, а я пошепчу», – и она подтолкнула легонько, управляя им так, чтобы он понимал, куда ступать. Подпорка была высокой, выше головы, и совсем легко было под нею пройти. Он косился на бабушку, видел, как она шепчет, почти закрыв глаза, руки ее стали вдруг сильными, и она почти волочила его под подпоркой – он только перебирал ногами. У самой стены сарая пучками выбивалась сухая прошлогодняя трава, он смотрел на нее, от ветра трава покачивалась и еле слышно шелестела – похоже было, что и трава шепчет, привыкнув и к ветру, и к

холоду, – и ему показалось, что как раз эту траву он и видел уже когда-то, и хотя ветер налетал порывами, трава качалась плавно – так, как хотела того сама. Он ходил вокруг подпорки, глядя только на траву, мучаясь своим неумением вспомнить, на что же похоже это плавное и спокойное шевеление. Шепот над головой сливался с шершавой поверхностью подпорки, с ветром, который словно успокаивался в траве, а он все не мог вспомнить и только тревожился слитностью всего видимого с тем, что затаилось в нем и не могло так просто себя открыть, обнаружить.

Потом бабушка сказала: «Ну, все, слава Богу», – оттащила его от вытоптанного кольца шагов вокруг подпорки, поправила платок, и они пошли обратно. Он хотел идти один, но бабушка крепко держала руку, и он молча глядел себе под ноги, узнавая по всем мелким кусочкам льда дорогу, по которой они шли сюда совсем недавно.

У крыльца он выдернул руку, сказал: «Я погуляю», – и побежал быстрее за угол, чтобы бабушка не успела его остановить. Выскочил за калитку, посмотрел по сторонам и заметил, что скамейка возле забора уже освободилась от снега, стала сухой и голой, и он поспешил залезть на нее, чтобы хоть немного посидеть, закрыть глаза и послушать – с открытыми глазами всегда труднее расслышать все звуки, которые носятся в воздухе, и если не прислушиваться, они могут и не слететься, не смешаться ветром в непрерывный шепот.

На лугу снега уже осталось мало, он собрался, уплотнил-

ся по канавкам и впадинам. Через мутноватый и густой воздух лес казался поднятой вверх, вздыбленной пашней, только верхушка высокого дуба выделялась одиноко на чистом небе. Дуб стоял почти на самом краю, и будка на нем отсюда, от улицы, походила на гнездо птицы. Даже хотелось, чтобы над этим гнездом, на самой вершине, сидела сейчас птица, отдыхая после долгого перелета, не двигаясь, только ожидая, что пройдет томительное время, и деревья станут покрываться зеленью, и лес станет привычным, и не так одиноко будет торчать эта высокая верхушка.

Он услышал сзади постукивание палки по крыльцу – это бабушка собиралась уходить и стояла с матерью на крыльце, переступая с ноги на ногу, опираясь на палку. Мать позвала его и, когда он подошел, сказала: «Сынок, ну что ты сидишь на лавочке, еще холодно, и сквозит там через забор – иди в дом». Он почувствовал, что действительно замерз, и, быстро сказав бабушке «до свидания», прошмыгнул в дверь.

На полу лежали ослепительные пятна света, занавески были раздвинуты до отказа – казалось, ярким светом проветривается неподвижный воздух комнат. Он не знал, что сейчас делать, чтобы это совпало с желанием родителей. Взял книгу, смотрел в нее, не читая, косясь на дверь, ожидая, что войдет мать или отец и надо будет совсем по-новому взглянуть навстречу.

А вечером, когда уже засыпал, он боялся, что опять увидит сон, который начинается взбудораженной и бугристой

поверхностью – наверное, он боялся, что сейчас она уже никогда не сможет распрямиться. На мгновение показалось, что сон наплывает на него, и он открыл глаза в темноту комнаты. Еле различимы были предметы, он взглянул в сторону окна, и ему показалось, что там, за черной рамой, шевелится что-то. Но сон навалился на него, несмотря на открытые глаза, и, совсем засыпая, он успел увидеть ту сухую траву у сарая, и сразу же все исчезло. Он мгновенно перескочил неизвестную черноту, не помня времени, за которое вечер превратился в утро, и, уже поднявшись с кровати, понял, что ему ничего не снилось. Раньше он никогда не думал о прошедшей ночи, связанной с увиденным или неувиденным сном, – раньше все случалось само собой, сны прилетали откуда-то, и он потом вспоминал их, но в это утро прошедшая чернота ночи оказалась неожиданной. И вот там, в другой комнате, родители ждут, когда он выйдет, чтобы взглянуть на него и подумать о том, чего он никогда не узнает. И вчера, когда он лежал на козухе, и потом, когда кружился вокруг подпорки, глядя на траву, что-то уже вздрогнуло и начало расползаться, оставляя родителям одну свою часть, а ему – другую. Он вспомнил книжную страницу, на которой картинка своей свежестью и яркостью обозначала одно, а в словах, пестревших однотонной россыпью, таилось другое, мерцающее и не только не совпадающее с картинкой, но и не терпящее повторения при новом, случайном раскрытии книги на той же странице.

Как только он распахнул дверь и увидел глаза отца, то удивился самому себе – ему вдруг стало весело, он улыбнулся, сказал громко: «Доброе утро», – и огляделся вокруг, замечая и накрытый для завтрака стол, и отражение в зеркале стены с закрытой дверью, за которой, казалось, остался тот, на кого он был так похож совсем недавно.

Но все равно он чувствовал, что и это – не то, что надо делать, что и эта утренняя веселость пугает и отца, и его самого. Когда умывался и смотрел, как падают капли и разбегаются по воде быстрые дрожащие круги, он все мыл и мыл лицо, пока не защипало в глазах. Он и за стол сел, улыбаясь и щурясь – то ли от яркого света, то ли от страха поднять глаза.

– Ну, что снилось? – спросил отец, и он даже вздрогнул от этого вопроса. Почему раньше почти никогда отец не спрашивал его об этом?

– Ничего не снилось, совсем ничего, – он быстро ответил, не успев ничего придумать. Надо было рассказать давнишний сон или что-нибудь ответить другое, а он почему-то боялся, что и отец встревожится вместе с ним, но тот усмехнулся и просто сказал:

– Это хорошо, значит, крепко спал. Я, когда молодой был, снов никогда не видел. Засыпал – как в яму проваливался. Ты вчера уморился, вот и спал крепко.

«Да, конечно, я просто спал крепко», – подумал он.

Но больше он ничего не сказал и хотел только быстрее до-есть, а потом выйти на улицу и ничего не думать, а побежать

куда-нибудь, найти место, где снег уже полностью растаял и совсем по-весеннему тепло.

Но выскочил он не на улицу, а за дом, побежал по той же дорожке, по которой шли вчера с бабушкой, и, забыв о том, что может выйти старик сосед и увидеть его возле своего сарая, уже стоял возле той самой подпорки и смотрел на траву. Снег возле нее совсем оттаял, и вылезла черная и мокрая земля.

Он взялся за подпорку, вспомнил, как скользила рука по этой старой, с трещинами, поверхности, и оглянулся. Никого не было видно, только несколько кур копошились в сухом прошлогоднем навозе. И он, не зная, что надо шептать на самом деле, начал вертеться вокруг подпорки, пригибаясь и проговаривая тихонько слова, которые приходили ему в голову. За стеной сарая вдруг шумно выдохнула корова и, наверное, потерлась боком о бревно – он услышал громкий шорох. Он остановился и словно увидел себя со стороны – стало стыдно и страшно: а вдруг выйдет сейчас старик. Он побежал к своему дому, и куры, закудахтав, побежали перед ним по тропинке, в самом конце только догадавшись свернуть в сторону, на остатки грязного снега. Миновав крыльцо, выскочил на улицу. И не знал, куда ему бежать дальше, а останавливаться не хотелось. Пошел уже спокойней, скамейка проплыла мимо. Вчера он сидел на ней, но не хотелось повторения ни в чем – он боялся увидеть все таким же, как вчера, боялся что-нибудь вспомнить и даже не поворачивал

голову ни в сторону леса, ни на скамейку, а уткнулся взглядом себе под ноги и шел куда-нибудь подальше от дома, туда, где продолжалась не видимая из окна улица.

И когда дом его остался далеко сзади, скрылся за другими домами, за выступающими на улицу палисадниками, он увидел, как впереди, прямо на сухом бугорке, стоят кучкой дети. Зимой он с ними катался на санках на этом же месте, а сейчас они стояли и рассматривали что-то на земле. Он подошел ближе и увидел, что они собираются разметить площадку для игры в черту, но сухой земли не хватает – по краям площадки много грязи. Рядом лежала ненужная пока баночка из-под ваксы. Один из них приминал грязь, месил ее и говорил, что так она быстрее высохнет.

Он остановился немного сбоку. Он и играть не хотел, но все же стало грустно, что еще не началось то время, когда можно стоять и смотреть, как кто-нибудь ловко прыгает на одной ноге, двигая баночку по гладким квадратам. Все молча следили за игрой, не отрываясь, и, наверное, каждый, засыпая вечером дома, все еще видел перед собой эти квадратик с остановленной перед следующим движением баночкой. Ему захотелось спросить Сашку или Толю, как их лечили от испуга, но он побоялся, что они этого не знают и будут над ним смеяться. «Их, наверное, совсем по-другому лечили», – подумал он. Потом он прошел по улице еще дальше, в самый ее конец, несколько раз оступился в лужу, промочил ноги и вернулся домой.

Разделся и подумал, что и читать ему совсем не хочется – заранее он представлял почти все книги, которые мог бы взять в руки. Он прошел мимо стола, на котором они лежали, и стал смотреть на мокрое стекло. Капли застыли на нем, и совсем редко одна неожиданно вздрагивала, сталкивалась с другой, и уже крупная капля находила себе дорожку и медленно стекала вниз. Сзади хлопнула дверь, и, чтобы не оборачиваться, он перешел к другому окну, в спальне, и долго еще так стоял, думая, когда же пройдет этот длинный день.

Прошел не только этот день, но пронеслись быстро еще много других, похожих друг на друга, и каждое утро, когда он выходил во двор, голова сама поворачивалась в сторону соседского сарая, он видел знакомую подпорку и, хотя больше никогда к ней не подходил, видел, словно перед собой, ее неровную поверхность с глубокими трещинами и траву внизу, только трава эта, наверное, уже давно скрылась под новой и зеленой, утонула под ней и исчезла.

Хотя наступило лето, они с братом и с Толей никогда не ходили к своему дубу. Несколько раз, проходя мимо, он даже поспешил пробежать это место и только от улицы оглянулся. Будки не было видно в густой зелени, и он думал всегда, что если брат позовет, то, конечно, они пойдут туда – достраивать, подправлять свое гнездо, но брат не звал никогда, а одному идти к дубу не хотелось. Каждый день он ждал, что его опять станут лечить, хотя не представлял, как можно будет по картофельной ботве дойти до той самой подпорки.

Когда приходила бабушка, он готовился к тому, что вот-вот его позовут и будут говорить: «Не бойся, не бойся», – эти слова засели у него в ушах, будто кто-то шептал их внутри.

Он стал замечать, что не только ему тяжело смотреть в глаза отцу – что-то наплывало, как слеза, и хотелось моргнуть, избавиться от невидимой пелены, и глаза уже начинали мерцать, и легче всего было просто отвести взгляд в сторону, – но и отец тоже, когда заговаривал с ним, словно говорил всегда не о том, слова выходили чересчур ласковыми и шутливыми. Казалось, что отец знает что-то тайное и даже стесняется этого и не хочет сказать.

Что бы он ни делал сам, один, он думал, что может сказать при этом отец, и казалось, он слышит его слова.

Однажды, когда отец ремонтировал крыльцо, прибывая новые дощечки, только что оструганные рубанком, он сидел рядом, смотрел, как стремительно входят под ударами молотка гвозди в гладкую поверхность, – и вдруг промахнулась рука, молоток ударил прямо по пальцам, отец подскочил, замычал от боли. А он, не успев даже удивиться себе, вдруг громко сказал: «Дурак!» – и широко раскрытыми глазами уставился в лицо отцу, застыл так на мгновение.

Потом, отскочив в сторону, побежал изо всех сил за дом, не зная, куда он бежит и зачем, только стараясь не упасть, не споткнуться, и уже на углу оглянулся быстро – отец гнался за ним, протянув вперед руки. Он испугался, закричал во весь голос и услышал, что отец тоже кричит: «Не бойся, подожди,

не бойся, сынок», – но нельзя было остановиться. Отец обогнал его, поймал на руки, подхватил вверх, а он все брыкался, стараясь вырваться. Отец прижал его к себе и понес обратно к дому, приговаривая: «Ну что ты, глупенький, ну что ты плачешь».

Потом, когда прошло время и он успокоился, то стянул тихонько молоток и, спрятавшись в углу двора, ударил себя по пальцам. Было так больно, что слезы сами полились, и он отбросил молоток в сторону, зажал руку и долго так сидел, не разгибаясь, затаив внутри боль и еще что-то страшное, что никак не могло смешаться со слезами.

## 6

Когда спрашивали его в то время, как спрашивают у всех детей, кем он хочет быть, он отвечал: «Космонавтом». Сразу согласившись на эту игру, которая всегда начиналась одним и тем же вопросом взрослых, он и отвечал по правилам, требующим простоты и однозначности. Но сам чувствовал, что игра эта – временная и первыми, конечно, прекратят ее взрослые, а на самом деле никакими словами нельзя ни спросить об этом, ни ответить. Сами слова «кем ты хочешь быть» были похожи на пожимание плечами. Иногда так и хотелось сделать, соединить этим вместе вопрос-ответ, но он, хотя и пожимал плечами, все-таки успевал сказать: «Космонавтом». А одновременно с этой игрой внутри него откуда-то возникала другая – наверное, без всякого начала и конца, без условий и правил, скорее, это было состоянием, которое можно и не замечать, но оно все равно не прерывается ни на минуту. И только когда он слышал: «Кем ты хочешь быть?» – то начинал чувствовать внутри себя сладкое замирание и ясность. Казалось, что все вокруг состоит из слов, и если выбрать одно, то оно оставалось тревожным и непонятным, но появлялись другие слова, они слетались откуда-то, он умел ими не то чтобы управлять, а следить за ними неотрывно – и непонятное, тревожное слово, окруженное несколькими прилетевшими, вдруг теряло свое напряжение.

Это спасение от страшной тревоги, объяснение одного слова другими превращалось в цепочку слов.

Ему казалось, что он может так объяснить все слова, все предметы, и странная уверенность успокаивала его. «Ночь – это...» – и цепочка уже мерцала, требовалось только небольшое усилие, чтобы она не оборвалась и не прекратилось это мерцание. Конечно, он не думал, что этому занятию есть название, но, когда его спрашивали, кем он хочет быть, сама собой начиналась эта внутренняя игра, и он чувствовал, что она не прекратится, когда он вырастет. Он мог бы сказать: «Вот так я и хочу делать всегда, таким я и хочу быть», – но знал, что объяснить это не сможет никому.

По тому, как дни стали похожими друг на друга ожиданием того нового, чего в них пока еще не было, – чувствовалось, что лето прошло, осталось только дожждаться его конца. Последние дни были заполнены одинаковым теплым светом, и особенно похожи друг на друга были закаты вечерами, когда солнце долго-долго готовилось повиснуть неподвижным красным шаром над самым горизонтом, и потом, вдруг соединившись с ним, уже медленно опускалось – и нельзя было оторвать взгляда, пока оно совсем не исчезало, оставив после себя на краю неба тускнеющий огонь.

И вот он просыпается раньше обычного – стремительно проносится испуг, не проспал ли, прислушивается к голосам в соседней комнате, смотрит на стул рядом с кроватью – там лежит новая одежда, которая уже называется школьной, и

кажется, что стул за ночь передвинули: в утреннем свете он выглядит совсем по-другому, чем вчера.

Он подхватывается с кровати, и уже безостановочно понеслись минуты, в каждую из которых вмещается целое событие: выскочил во двор, потом на огород – оттуда хорошо видна дорога, еще не тронутая после ночи; словно удостоверившись, что дорога на месте, он бежит обратно, одевается быстро, успевая все же порадоваться непривычности новой одежды, завтракает, косясь на ранец. Родители заняты своими делами, но вот мать проходит мимо, он смотрит на нее и не выдерживает, улыбается так, что кажется, улыбка так и останется у него на лице навсегда. Наконец можно выходить, он натягивает ранец и вспоминает картинку из книги. На картинке много цветов, детей, и взрослые стоят, наклонившись к детям, словно стараются заглянуть им в глаза.

Поле за огородами огромное и выпуклое, дорога поднимается вверх, и на ее середине вдруг оказываешься в самой высокой точке – если оглянуться вокруг, то видно далеко во все стороны и хочется кружиться, скользя взглядом по горизонту.

Все мелькало, сорвавшись с привычного постоянного места, и потом, вспоминая тот далекий день, он всегда думал, что на этой дороге посреди поля впервые почувствовал возможность соединить и себя, и все видимое перед собой с теми словами, которые могли бы все назвать; казалось, от каждого предмета, вздрогнув, отлетало слово, устремляясь в но-

вую, всегда будущую жизнь, не настигая ускользающего своего смысла и уже не умея вернуться назад.

Осенью эта дорога притягивала к себе все пространство поля, и хотелось смотреть поверх нее далеко – туда, где дымка над горизонтом соединялась с грустью и покоем. Любое воспоминание всегда залетало на эту осеннюю дорогу и оживало, наполняясь густым и синеватым воздухом поля.

По утрам он спешил отойти от дома до того места, где дорога уже полностью была сама собой, и там шел медленней, растягивая для себя необъяснимую радость. Но вот уже вырастали впереди дома, за ними была школа, и он попадал в странное состояние, когда каждая следующая минута вытягивалась, вырастала из только что прошедшей.

Школа его удивила с самого начала необычностью поведения всех, кто переступал порог класса. Казалось, у каждого, кто сидел рядом с ним, вот-вот отнимут что-то, и напряжение делало всех похожими. Он сразу понял, что говорить можно немного меньше, чем знаешь, и это его беспокоило: он никак не мог определить границу и, сидя за партой, не отвечая, чувствовал, что играет с собой, словно учит себя тому, что и так уже знает. И даже завидовал учительнице, которая привычно притворялась не умеющей ни читать, ни считать и спрашивала иногда смешные вещи – казалось, она шутит. Что нарисовано на этой картинке? Какой квадратик больше? И он думал сразу, что, может, надо бы сказать на-

оборот, иначе какой смысл во всем этом?

Наверное, он даже уставал от этого и, когда звенел последний звонок, торопился и бежал, чтобы скрыться поскорее за крайними к полю домами. Шел, потихоньку успокаиваясь, по той же дороге. Если кто-то шел впереди, он отставал, стараясь вспомнить, как утром было легко и радостно. В школе он видел песочные часы и сейчас сравнивал свое возвращение домой с переворачиванием этих часов – вот струйка полилась, полилась, и начал расти невысокий бугорок, и трудно уже оторвать взгляд от аккуратной желтой горки.

В этой будущей жизни, которая станет с годами все менее объяснимой, количество обыкновенных предметов, связанных с воспоминаниями и чувствами, окажется бесконечным, и он будет только удивляться, переживая свою беспомощность найти начало этих прочных связей, объяснить их, и в конце концов согласится со своей способностью думать, вспоминать и чувствовать, наблюдая внезапные возникновения перед ним этих разнесенных во времени и сменяющих друг друга предметов. Песочные часы, катящийся по наклонной парте карандаш, пятно чернил на ладони, облако, существовавшее только однажды в такой причудливой форме, последнее яблоко на уже безлиственной антоновке на Покров, мучительные и мычащие глаза коровы, когда ее грузили на тележку трактора, следы отца в снегу, заметаемые наполовину, и он, идущий сзади, оступается, не умея так широко ставить ноги, успевая заметить, что поземка у отцовских ног

проносится так быстро, что кажется, отец заваливается набок...

Роение таких картинок перед глазами будет требовать чужого для него усилия, чтобы заставить их соединиться, быть вместе, не перечеркивая друг друга; но непонятная сила смеет все и влечет его дальше – туда, где он может увидеть что-то, еще ни разу не повторенное.

Но на этой дороге, когда возвращался из школы, ему было спокойно, он не спешил, смотрел даже не по сторонам, а просто вокруг, и все видимое было единым, переливающимся и радостным. С верхней точки поля видны были дальние деревни, блестели под солнцем крыши, он переводил взгляд на свой дом, почти полностью открывшийся, и чувствовал, что дорога покидает его и остается сзади, дожидаясь вместе с ним завтрашнего дня.

И на пороге, пока вытаскивал руки из лямок ранца, выбирал место на полу для ботинок, уже возникало волнение, он пробежал в дальнюю комнату, косясь на зеркало, словно хотел проверить, совпадает ли отражение со странным ожиданием, которое растворилось во всем доме, в крестовинах окон, во всех предметах, в словах родителей. Они спрашивали о школе, он отвечал, не умея ни сказать, ни почувствовать до конца неуловимое перемещение слов, неудержимых на своих местах. Смысл сказанного сразу менялся, и он никак не мог примирить свои молчаливые слова с ними же, произнесенными.

Но потом начиналась обыкновенная череда занятий – переодевание, еда, работа; он делал все быстро, подгоняя себя, чтобы не приостановиться в пустом времени.

Ему нравилось ходить за водой, когда солнце уже начинало садиться. Отец запрещал наливать полные ведра, но он все-таки наливал чуть выше рубчиков, нес, стараясь ни разу не остановиться за всю дорогу от колодца до дома. И когда шел еще раз к колодцу, смотрел прямо на солнце – оно уже было неярким, нижним краем касалось лип на краю улицы, и в этом вечернем свете улица замирала, накапливала к ночи тишину.

Перед тем как уснуть, он всегда подолгу лежал с открытыми глазами, зная уже, что сон не придет, пока прошедший день не затихнет в нем, не расстанется с ним. Похожий на вздох, день вспоминался своим внезапным утренним началом, проносился повторением всех событий и застывал в сером пятне окна с мерцающими звездами. Это мерцание так совпадало с молчанием, в котором только и держались слова прошедшего дня, что растворялись и таяли все ощущения, тело становилось невесомым, и он засыпал.

И приходил полный покой, не тревожимый ни названием всего виденного, ни объяснением – все происходило настолько само собой, что назавтра оставалось лишь удивление от недостижимой никогда наяву радости, и помнил он скорее не сами сны, а эту радость. Если он пытался вспомнить сон от начала до конца, заставляя его стать обыкновенным вос-

помиранием, то все каменело, тяжелело на глазах и падало ненужным предметом. Страшно вспоминать сны – они сразу исчезают, оставляя ничего не значащие обрывки, и только иногда вспыхивают своей необъяснимостью, улетаая в будущую жизнь, как подпрыгивающий над водой камешек – размытые по краям картинки, совершенные в своей естественности.

Вот кто-то взрослый ведет его за руку по тропинке в лесу, говорит не останавливаясь, и ни одного слова не разобрать отдельно, но все это звучит, как шелест листьев – ясен весь смысл, до последнего листочка, вот уже надо ответить, и вдруг он чувствует, что перед своими словами надо что-то изменить, нарушить в том, что видит перед собой. Быстро припадает к земле, над ним проносится густая ветка с шуршащими листьями, и после этого он уже может говорить: «Но для тебя по-другому шумят кусты», – и кусты вдоль тропинки шевелятся, в шевеление их вмещиваются и эти слова, и тот шелест, который он слышал мгновение назад...

А вот он видит маленькую девочку, которую ничем не успокоить, и хотя она не плачет, в глазах ее застыло что-то не растворимое словами, и он чувствует со страхом свою беспомощность, оглядывается – никого больше нет в тесной комнате с черными окнами, он смотрит опять в глаза девочки, и приходит спасение, он поднимает ее на руки, ставит на стул и поит ее из кружечки, и девочка, подняв вверх голову, как птенец, пьет, на глазах вдруг становясь живой и тяжелеющей

этим оживлением – и он радуется, смеясь и вздрагивая всем телом. . .

А утром, привыкая с закрытыми глазами к своему пробуждению, он вспоминает окно, мелькающую за ним ленточку – и видит все на своих местах.

Скоро во всем, что было связано со школой, стало больше привычного, чем неожиданного. Он привык сидеть весь урок почти неподвижно, незаметно начинал чувствовать этот отрезок времени физически, угадывая ту минуту, когда пора быть звонку, привык ко всем шумам и запахам, которые всегда были одинаковыми в классе. И одновременно стал замечать, что все понятное и привычное для него он делает быстро, словно торопясь быстрее избавиться, освободиться. Если учительница писала на доске и потом весь класс хором читал – он видел, как буквы терпеливо ждут, пока их наконец узнают, видел, как различаются по настроению одинаковые, но чуть по-разному написанные слова – и это было его игрой, о которой никто не знал. Когда писал в тетради, стараясь не залезть за голубенькую линию, то с трудом себя удерживал – ему казалось, что следующую букву рука сама, получив тайное от него разрешение, выведет как раз на этой линии, перечеркнув ее, радуясь своей победе. Он словно боялся, что его заполнит до отказа умение делать все так, как надо, и новой его игре не останется места, но с радостью замечал, что все понятное уменьшалось в размерах, освобождая место, и он, как когда-то из кубиков, старался построить в пустом пространстве что-то незнакомое и ни разу не существовавшее.

Однажды учительница, отложив в сторону журнал и об-

локотившись о чистый стол, неожиданно улыбнулась и сказала: «А сейчас мы все расскажем, кем мы станем, когда вырастем». Все по очереди начали подниматься и громко говорить, называя профессии. Он сидел в стороне, его очередь еще не подошла, и с тревогой смотрел, как поднимаются, хлопая крышками парт, ученики, а он все не знал, что сказать. С каждым услышанным словом исчезала возможность его повторения, а голоса были все ближе. Можно было опять, как и когда-то, сказать, что хочет стать космонавтом, но сейчас он искал то слово, которое скрывалось в будущем, не показавшись еще ни разу. И когда поднялся, помолчал некоторое время, а учительница ободряюще сказала: «Ну, а кем же ты будешь?» – выдавил из себя: «Летчиком», – и сразу почувствовал такой ясный стыд, что казалось, после этого он вообще не скажет ничего.

В тот день он не обрадовался ни звонку, ни своему одиночеству на дороге – шел, глядя себе под ноги, стараясь вспомнить ту ясность, которая бывала в нем, когда он чувствовал свое умение назвать и объяснить одно слово многими другими. «А может, это и не называется никак», – подумал он.

Возле дома он встретил брата, который хитро улыбнулся, словно знал что-то новое и не хотел пока об этом говорить. «Наверное, кто-то приехал», – подумалось, и он поспешил в дом.

Но там были только отец с матерью – они, склонившись друг к другу, читали тонкую тетрадку и смеялись. «Вот мо-

лодец, это ж надо, взял да и написал, и заголовок даже вывел, и красиво», – говорила мать и легонько встряхивала тетрадку. Они оглянулись на стук двери, и мать сразу же протянула к нему тетрадь: «На, сынок, почитай, что Коля наш отчебучил – написал, как вас пчелы покусали».

Он взял тетрадку и пошел в другую комнату – за дверью все еще слышались веселые голоса и смех. Вверху первого листа было написано крупно: «Пчелы». Он подошел к окну, положил раскрытую тетрадь на подоконник и стоя стал читать.

«Мы пошли гулять на улицу. Мы гуляли возле Мишки. И на нас напали пчелы. Мы побежали, и пчелы укусили всех».

Исписана была одна только страница, и он вспомнил, как летом вылетевший рой искусал их всех. Когда они с Колей прибежали наконец домой, отец выдавливал у них по всему телу пчелиные жала – несколько дней они ходили опухшие, весело смеясь друг над другом.

Он еще раз перечитал эту страничку, удивляясь странно-му несовпадению слов на листке с тем, что было тогда летом – с теми криками, бегом, когда ноги не успевали за телом и спотыкались, и они падали, подхватывались и бежали вдоль улицы, и страшна была неостановимость всего. «Ну конечно, все же не поместилось на странице», – подумал он и все вспоминал тот день. Зашла мать, спросила: «Ну как, прочитал?» Он кивнул, протянул ей тетрадку. Мать засмеялась: «Это ж надо, все уже и забыли про то, а он, видишь, написал».

Потом вышел во двор, нашел там брата, улыбнулся ему и хотя ожидал от себя каких-то слов, но не знал, что надо сказать. Молча они вышли на улицу, посидели на скамейке. Он хотел сказать про будку – что она, наверное, совсем высохла там, на дубе, но вовремя спохватился, решив, что говорить можно только о тетрадке, и промолчал. Когда они уже возвращались в дом, он спросил у брата: «А кем ты хочешь быть?» Брат глянул удивленно и ответил: «Не знаю». – «И я не знаю», – он засмеялся от легкости, вдруг появившейся в нем, и вспомнил, что надо делать уроки. А когда сел за стол, то начал искать совсем чистую тетрадку, нашел и долго смотрел то на нее, то в окно. Ветра не было совсем, и ленточка висела свободно, невидимая в своем спокойствии.

Когда он почувствовал, что за спиной кто-то стоит, накрыл грудью тетрадку, оглянулся и увидел отца. «Что, уроки готовишь?» – спросил отец, и он закивал поспешно. Отец отошел, а он глянул на страницу, прочитал вверху «Пчелы» – и дальше были такие же слова, как и в той, Колиной, тетрадке...

Он зачем-то вырвал лист, сложил его пополам и вышел в другую комнату к отцу, быстро подошел поближе и протянул сложенный листок. Отец молча взял, серьезно прочитал, опять сложил листок и сказал: «Молодец». И все, погладил только по голове, словно хотел, чтобы он повернулся и ушел. Он вернулся к столу, на котором еще лежала тетрадка, и вспомнил, как в школе ему было стыдно. Стукнула дверь,

в дом зашла мать, слышно было, как они разговаривают с отцом. Мать вошла, вытирая о полотенце руки: «Ну-ка, дай и мне почитать, что-то вы с Колей сегодня расписались», – и осторожно улыбнулась. Он сунул ей лист и побежал к двери, хлопнул громко, сразу испугавшись, что отец будет ругать за это, выскочил во двор и быстро оказался за домом, на огороде.

Уже воздух потемнел, и только небо еще сохранило дымчатый свет. У самого горизонта оно тлело последним огнем. Он повернулся быстро, глянул по всему небу и впервые увидел, как цвет его из красного переходит в темно-синий, даже фиолетовый. Ни одной звезды еще не было, и хотелось дожидаться, в каком месте появится первая, хотелось заметить неуловимое ее появление.

Однажды в душном ночном вагоне он будет лежать навзничь на нижней полке и смотреть через перевернутое окно на догнавшую его луну, вздрагивающую от скорости и от страха исчезнуть из маленького кусочка грязного стекла. Она ныряла в легкие облака, похожие на дым, просвечивая их изнутри, и наливалась ровным светом на пустом небе, мгновенно находя единственную и простую линию, ставшую этой ночью параллельной его дороге, которая стремительно разносила на бесконечное расстояние начало и не существующий пока конец.

И ему казалось, что осталась где-то такая же луна, только неподвижная и спокойная. Она смотрела с вечным ожиданием на темный дом, и свет ее, проходя через окна, разливался по комнатам тусклым и уютным мерцанием. Он просыпался ночью, тревожно оглядывал свою комнату, безуспешно стараясь соединить с этим светом то значение, которое было во всех предметах только днем, и сны покидали его на время, дожидаясь своей власти в таком же тихом и неподвижном мерцании.

В одну из ночей он проснулся от яркого, прыгающего по стенам света, от гула и треска – похоже было, что вдруг взревела, даваясь своим огнем, печка. Со сна он еще ничего не хотел понимать и лежал, пока крики родителей не вывели

из оцепенения. «Пожар!» – забежал в спальню отец, и глаза его были немигающими, застывшими в страхе. Все замелькали, засуетились тени – почему-то не включали электричество. Он быстро оделся, удивляясь своему спокойствию, и вслед за братом выскочил на крыльцо. Горел дом напротив через улицу, горел весь, и не было на нем ни одного пятна, не охваченного огнем. На голове от жара затрещали волосы, они вернулись за шапками и уже забыли про шапки, помогая матери вытаскивать мигом появившиеся узлы. Он откуда-то знал, что сейчас у него должно появиться много сил, со страху – рванул огромный узел, но поднять не сумел и, удивленный, что ничего с ним не произошло, что сил у него, наоборот, стало меньше, поволок узел поменьше. На улице было полно народу, горевший дом уже не спасали, а поливали их дом, подбегая по очереди, и от стены валил густой пар, так не похожий на дым своим цветом и тяжестью. Под ногами валялись книги, он собирал их в стопки и только хотел поднять, как его толкали, и книги опять рассыпались. Но он старался захватить побольше и носил книги почти охапками в темноту за домом, на огород, сваливая их под яблоню.

Потом он водил вокруг дома бабушку, мгновенно поняв приказание отца. У бабушки в руках была икона, но от пламени бабушка словно ослепла, и, когда свет падал на ее лицо, он видел, как беззвучно шевелятся губы. Они три раза обошли дом, и бабушка вдруг ослабела, села на попавшийся рядом узел, что-то приговаривая, не останавливаясь, и он,

держала ее за руку, смотрел, как от стен веером разбрызгивалась вода, стекая в черные, сверкающие огнем лужи.

Назавтра они с братом и родителями целый день молча затаскивали обратно в дом все узлы, мать запихивала одежду в шкаф, и видно было, как изменилось все даже внутри дома – горелый запах пропитал все насквозь, засеив по всем углам.

Вечером все вместе сидели за столом, есть не хотелось, мать плакала и гладила его по голове. Он тихо соскользнул со стула и пошел в спальню, затворив за собой дверь. Из той комнаты доносились громкие вздохи, а он уже разделся, осторожно залез под одеяло и лежал, глядя неподвижными глазами в окно.

Он долго боялся уснуть, боялся сна, в котором опять бы увидел высокое, над деревьями, пламя.

И вдруг там, куда он смотрел – в обгоревших ветках березы, росшей через улицу, он увидел медленно блеснувший огонь. Встрепенувшись, он уставился на этот багровый, проступающий сквозь голые ветки свет, и словно не сам догадался, а откуда-то пришла к нему сразу ослабившая его радость – узнал луну. Она была краснее обычного и заметно выползала, выкатывалась наискосок по окну, будто стремилась достичь своего места и повиснуть там неподвижно, отдыхая и яснея в цвете. Но странно – в комнате оставалось так же темно, как и раньше, словно свет не отходил от круглого пятна, и он закрыл глаза, все равно видя яркий красно-желтый круг с резкой, обрывающейся в черноту грани-

цей. И казалось, что прошедший пожар, все быстрые о нем воспоминания, в которых еще не остыли вчерашние крики, гул пламени, столбы искр, – все уместилось в этом круге с таинственным и тревожным цветом.

Однажды отец объяснил ему, отчего светит луна. Кулаками изображая Солнце, Землю, он показывал, как солнечный свет отражается и падает на ночную землю. Было до того понятно, что он удивился и подумал, что отец говорит с ним как с совсем маленьким. Отец рассказывал это днем, а когда ночью он лежал и смотрел через окно на луну, – думал, со страхом допуская такую мысль об отце, что тот не знает еще чего-то, что появлялось только ночью, лунный свет не допускал такой простоты, которая была в отцовских словах и жестах.

Он еще помнит, как отец помолчал немного – решил, наверное, что объяснил не очень понятно, – и начал опять, почти слово в слово повторив свой первый рассказ, и даже жесты были такими же. И он понял, что это повторение тоже соскользнуло со своего смысла, невыразимого словами, и слова сами, стараясь быть понятными, соединились в простом значении – так при пересказе и даже воспоминании сон мгновенно исчезал, превращаясь в простую цепочку слов, связанных новым, не существовавшим во сне смыслом.

Луна сияла в полную силу, неотличимо от ночной тишины гудели провода, и время превращалось в бесконечность покоя. Он засыпал, пытаясь вспомнить что-то последнее, тле-

ющее слабой тревогой, но это уже было началом сна.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.